Комнаты внутри нас

Комната радости

О счастье, которое мы оставляем на потом



Шокун Алексей Владимирович

Шокун Алексей

Комната радости. О счастье, которое мы оставляем на потом

«Автор»
2026

Алексей Ш.

Комната радости. О счастье, которое мы оставляем на потом / Ш. Алексей — «Автор», 2026

Хорошее случается рядом, но не всегда удаётся к нему прикоснуться. Новую вещь берегут для особого дня, добрые слова оставляют на потом, праздник откладывают до лучших времён. «Комната радости» — двенадцать историй о людях, которые привыкли не хвалиться, не ждать слишком многого и быть осторожными даже со счастьем. В старом доме одна комната давно готова к празднику: посуда завёрнута в газеты, мебель укрыта от пыли. Смотритель снимает чехол, включает лампу и ставит чашку на стол. Здесь никто не учится радоваться по инструкции. Иногда хорошему просто впервые находится место в обычном дне.На отдельных этапах подготовки издания применялись интеллектуальные цифровые инструменты.

© Алексей Ш., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Об этой книге 5
Как читать 6
Пролог 7
Не сглазить 8
После ремонта 16
Конец ознакомительного фрагмента. 17

Шокун Алексей
Комната радости. О счастье, которое мы оставляем на потом

Серия «Комнаты Внутри Нас»

Шокун Алексей Владимирович

Об этой книге

Это художественная проза. Истории в этой книге не заменяют помощь врача или психотерапевта, не описывают диагнозов, не дают назначений и не обещают, что после них что-то пройдёт.

Если вы узнали себя в одной из историй — это не диагноз. Узнавание не доказывает ничего, кроме того, что вы человек и с вами бывает то же, что с другими людьми.

Если сейчас с вами происходит что-то, с чем трудно оставаться одному, — это не тот случай, когда нужна книга. Позвоните тому, кто может помочь: врачу, психотерапевту, близкому человеку. Всё, о чём здесь написано, тянется годами, и это то, с чем помощь работает лучше, чем книга.

В этой книге двенадцать историй, и все они про одно и то же: про хорошее, которое было рядом и до которого человек не дотянулся. Никто здесь не станет счастливым человеком. Никто не научится радоваться. Меняется одна деталь, и чаще всего она маленькая: снятая бирка, отрезанный кусок, ветка в банке, лампа на подоконнике.

Как читать

Одну историю за вечер. Больше не надо: истории короткие, но они не для того, чтобы их проглатывали.

Порядок соблюдать не обязательно. Но если день был тяжёлый, не читайте подряд пятую, шестую и одиннадцатую — они самые тёмные. Между ними лучше сделать перерыв или перейти сразу к двенадцатой.

Истории не нужно понимать. В них нет скрытого смысла, который вы обязаны найти. Если после истории ничего не произошло — это нормальный результат: так бывает чаще всего.

Если история задела, закройте книгу. Не надо разбираться сегодня. Не надо ничего вспоминать специально — если вспомнится, оно вспомнится само, и уже не в книге.

Эту книгу можно читать вслух. Она так и написана — с расчётом на то, что её слышат.

И последнее. Эта книга не про то, как начать радоваться. Она про комнату, в которой всё готово уже двадцать лет, и про то, что в ней не хватает только того, кто войдёт.

Пролог

Комната, в которой всё готово.

Стол накрыт, но скатерти не видно: сверху лежит чехол, серый, из тех, что берегут от пыли. Под чехлом скатерть, и её не гладили лет двадцать.

Стулья стоят у стены, один на другом, по четыре, сиденьями вниз.

В шкафу посуда, и каждая чашка завёрнута в газету. Газеты за тысяча девятьсот девяносто восьмой год, и на них видны чужие объявления.

На торшере висит платок. Лампа под платком целая, и лампочка в ней есть.

Пианино закрыто, и на крышке стоит ваза, и в вазе ничего нет, и она вымыта.

Коробка со свечами не открыта. Пластинка стоит в конверте, конверт стоит ровно.

На полу от двери к окну протоптана светлая дорожка. К столу дорожки нет: к столу не ходили.

Смотритель входит, снимает с торшера платок и включает лампу.

Потом он достаёт из шкафа одну чашку, разворачивает газету, ставит чашку на стол и убирает чехол.

Он выдвигает один стул и ставит его к столу, боком, как ставят, когда садятся не надолго.

Он не садится сам.

Он выходит и оставляет дверь открытой.

В этой комнате всё готово. Не хватает только того, кто войдёт.

Не сглазить

Валентина Ивановна не говорила хорошее вслух. Она говорила его с оговоркой, и оговорка была как подкладка: чтобы не так скоро.

— Не сглазить бы.

— Тьфу-тьфу-тьфу.

— Не хвались, а то заберут.

Так она говорила про всё: про погоду, про урожай, про чужое здоровье, про свою пенсию. Это было уже привычкой, как кашлять, и она не замечала, когда говорит. Валентина Ивановна родилась в пятьдесят четвёртом, в бараке на три семьи, и в детстве спала на сундуке.

Она тридцать восемь лет работала в детском саду, сначала на кухне, потом завхозом, и знала, где что лежит, лучше всех в районе. Пенсия у неё была сто восемьдесят рублей, потом стала больше, и она всё равно считала каждую копейку и записывала расходы в тетрадку в клетку. Муж умер в девяносто восьмом, и с тех пор она жила одна в двушке на пятом, и лифт работал через раз.

Она говорила про себя:

— У меня всё есть.

И это было правдой: было всё, что нужно, и ничего лишнего, и она этим немного гордилась, и вслух об этом не говорила. Она потом думала, что «у меня всё есть» — это такая же оговорка, как «не сглазить», только наоборот: она не хвалилась даже тем, что нечего было сглаживать.

На площадке жила Зинаида, которая хвалилась всем.

Зинаида говорила:

— А у нас сын купил машину.

Или:

— А мы были в Крыму, и там так хорошо, что я даже не знаю.

Валентина Ивановна слушала и кивала, и внутри у неё что-то сжималось, и она потом весь вечер думала, зачем люди так делают. Она говорила себе, что Зинаида радуется, и что радоваться вслух можно, и что ей-то что.

Но каждый раз, когда Зинаида начинала, Валентина Ивановна вспоминала про снимки, или про пенсию, или про то, что лифт опять не работает, и говорила:

— Ну и хорошо.

Она потом думала, что за тридцать лет ни разу не сказала Зинаиде ничего про себя, и что Зинаида, наверное, считала её скучной, и что она и была скучной, и что это было делом её выбора, а не характера. У телефона в прихожей лежала разделочная доска, деревянная, с одной стороны тёмная и стёртая посередине.

Она стучала по ней костяшками пальцев, когда говорила по телефону что-нибудь такое, что могло не сбыться. Доска была стёрта в одном месте, величиной с пятак, потому что она попадала туда каждый раз. Телефон был настенный, с диском, и шнур у него был короткий и витой, и во время разговора она ходила по прихожей на длину шнура, туда и обратно.

Дочка звонила по воскресеньям, в шесть, и это было расписанием, и Валентина Ивановна к шести уже сидела рядом с телефоном. Она не звонила сама, потому что не хотела мешать, и потому что если позвонить первой, то можно услышать в голосе, что не вовремя. Позже она думала, что за тридцать лет придумала себе расписание и жила по нему, и что это расписание придумала не она, а привычка дочки, и что она к нему приладилась.

И ещё она думала, что в шесть у неё всегда было хорошее настроение, и что это единственное время суток, про которое она могла бы сказать, что ждёт его. Доска была из тех, что

остаются, когда выбрасывают шкаф. Шкаф выбрасывали в девяносто четвёртом, в соседнем подъезде, у Клавдии, которая переезжала к дочери в Тверь.

Шкаф был старый, с зеркалом в четверть, и его вынесли на площадку и оставили, и он пролежал там два дня. Валентина Ивановна пришла посмотреть и увидела, что сзади, в стенке, была вставлена доска — не фанерная, а настоящая, сухая, из дерева, которое ещё помнит, как росло.

Она спросила у Клавдии, можно ли взять, и Клавдия сказала:

— Да забирай, всё равно на свалку.

Она отвинтила её шурупом, и шуруп вышел легко, и доска оказалась тяжелее, чем выглядела.

Только много позже она поняла, что за тридцать лет не нашла в доме ничего, что было бы нужнее этой доски, и что это, наверное, странно — так про деревяшку. Следом приходила мысль, что доска была из шкафа, который выбросили, и что в этом была какая-то справедливость: вещь никому не понадобилась, а ей понадобилась.

Она стояла у телефона с девяносто четвёртого, и её один раз хотели выбросить, и Валентина Ивановна не дала. Правило было не её. Правило было материно.

В шестьдесят третьем году мать сказала за столом, при гостях, что отца повышают, и что с первого числа он будет начальником участка. Она сказала это громко и с удовольствием, и все выпили за это. Гости были свои: дядя Коля с женой, тётя Шура и ещё двое, которых Валентина Ивановна уже не помнила.

На столе была селёдка под шубой, и мать делала её два дня.

Отец сидел во главе и молчал, а когда мать сказала про повышение, сказал:

— Ну, рано ещё.

Мать сказала:

— Чего рано, всё уже решено.

Он ничего не ответил и налил себе ещё. Через неделю отца не повысили. Повысили другого, и отец об этом узнал на планёрке.

Он пришёл домой и ничего не сказал, и мать ничего не сказала, и ужин был тихий. Он потом неделю приходил позже обычного и говорил, что задерживают на работе. Мать ничего не спрашивала и ставила ему разогретое.

Повысили Кузьмина, который был на два года младше и о котором в семье никогда не говорили. Отец остался на участке ещё на одиннадцать лет и ушёл на пенсию с той же должности, и когда его провожали, ему подарили часы, и он их не носил. Мать после того вечера ни разу не сказала при гостях ничего хорошего заранее, и Валентина Ивановна помнила, как она замолкала на середине фразы и переводила разговор на погоду.

Она возвращалась к этому и думала, что мать не запретила себе радоваться, а запретила себе говорить, и что это разные вещи, и что разница между ними — это вся её семья. И ещё она думала, что мать, наверное, считала, что научила дочь уму, а на самом деле научила молчать, и что это не одно и то же, и что никто им этого не объяснил.

А потом мать сказала Валентине, которой было девять:

— Никогда не говори заранее. Скажешь — заберут.

Ей было девять, и она поверила, потому что это было похоже на правду. Потом она проверила это на себе много раз, и каждый раз выходило, что она права: сказала — и не сбылось. Она не считала случаев, когда сбылось, потому что их не помнила.

Гриша появился в семьдесят шестом, и он был громкий. Он смеялся так, что было слышно на лестнице, и когда он рассказывал что-нибудь смешное, то начинал смеяться раньше, чем доходил до конца, и от этого было ещё смешнее.

Она говорила:

— Тише, соседи.

Он говорил:

— Ну и пусть.

Она говорила:

— Зачем людей злить.

Он смотрел на неё и говорил:

— Валя, ну какие люди.

Он работал водителем на автобусе и приносил домой запах бензина и чужие истории, и она слушала и говорила:

— Не рассказывай, а то накличешь.

Он смеялся и говорил:

— На что накликаю?

Задним числом она объясняла себе, что за двадцать два года она ни разу не сказала ему, что любит его, и что он ни разу не спросил, и что оба считали, что это и так видно. Он умер в девяносто восьмом, в марте, в больнице, и она была там каждый день и приносила ему бульон в банке, и он почти не ел.

На похоронах она не плакала, и сестра сказала:

— Держись.

Только много позже она поняла, что «крепкая» — это не про силу. Крепкая значило, что человек не мешает: не плачет при людях, не просит помощи, не занимает разговор. Следом приходила мысль, что за всю жизнь её хвалили три раза, и все три — за то, что она ничего не требовала, и что она до сих пор не знает, как это называется, но что это точно не сила.

Она держалась, и держалась так хорошо, что через неделю соседка сказала:

— Крепкая ты.

Она потом плакала в кладовке, стоя, уткнувшись в его куртку, и это длилось минуты три, и потом она вышла и сварила суп. Она возвращалась к этому и думала, что плакала в кладовке не потому, что там было место, а потому, что там не было никого, кто мог бы увидеть, и что за всю жизнь у неё не нашлось места лучше кладовки.

Дочка позвонила в марте и сказала, что её переводят в другой отдел и что это повышение.

Валентина Ивановна сказала:

— Не хвались.

Дочка сказала:

— Мам, ну что ты как.

Валентина Ивановна сказала:

— Я не как. Я тебе добра хочу. Скажешь — снимут.

Дочка не сняли. Она работает в этом отделе уже четыре года.

Дочка один раз, лет десять назад, сказала ей по телефону:

— Мам, ты меня никогда не хвалишь.

Она сказала:

— Я хвалю.

Дочка сказала:

— Ты говоришь «не хвались».

Она сказала:

— Это одно и то же.

Потом она весь вечер думала, одно ли это и то же, и решила, что не одно, и не позвонила. На свадьбе дочки она не танцевала. Она сидела и следила, чтобы всем хватило, и один раз вышла на кухню и там постояла у окна, и в окне было видно, как в зале танцуют.

Подошла сестра и сказала: «Ты чего тут?» Она сказала: «Сейчас приду». Она пришла через полчаса и села на то же место.

Когда дочке было восемь, она пришла из школы с грамотой. Грамоту давали за конкурс чтецов, и дочка прочитала «Парус» и заняла второе место, и грамота была на плотной бумаге, с гербом и с подписью директора.

Она вбежала в прихожую и сказала:

— Мам, смотри!

Валентина Ивановна взяла грамоту, прочитала и сказала:

— Второе место.

Дочка сказала:

— Ага! Из тридцати!

Валентина Ивановна сказала:

— Молодец. Только не хвались, а то в следующий раз не дадут.

Дочка стояла и держала грамоту, и лицо у неё медленно менялось, и она ничего не сказала и ушла в комнату. Грамоту потом повесили на стену, но повесила её Валентина Ивановна сама, а дочка больше к ней не подходила. Позже она думала, что хотела как лучше и что получилось как всегда, и что «как лучше» — это такая фраза, которой потом можно объяснить всё.

На свадьбе было сорок человек, и зал был в столовой на первом этаже, и музыку ставили с кассеты. Валентина Ивановна пришла за два часа и всё проверила: чтобы хватило вилок, чтобы горячее не остыло, чтобы у молодых были места не у прохода.

Она сидела с краю, чтобы вставать, и вставала всё время, и официантки её уже знали и говорили:

— Да сидите вы.

Она говорила:

— Я сейчас.

Она вышла на кухню не потому, что устала, а потому что в зале стало слишком много всего: музыка, свет, сорок человек, и все смотрят на дочку. Она стояла у окна и смотрела, как в зале танцуют, и видела дочку в белом, и думала, что та красивая, и что сказать это надо было утром, когда они вдвоём собирались.

Задним числом она объясняла себе, что если бы сказала утром, то запомнила бы, а так она запомнила только окно и воду в раковине. Внучка в прошлом году собиралась в первый раз за границу и сказала об этом за месяц. Валентина Ивановна сказала: «Не сглазить бы».

И потом весь месяц думала про самолёт и никому об этом не говорила. Внучка поехала и вернулась, и всё было хорошо. Провожали её в Шереметьеве, и Валентина Ивановна поехала тоже, хотя её не звали, и ехала молча всю дорогу.

В аэропорту она держала внучкину куртку и никому не отдавала, и когда объявили посадку, сказала:

— Ну, иди.

Внучка сказала:

— Ба, ну ты чего.

Она сказала:

— Ничего. Иди.

Только много позже она поняла, что за те две недели она не спала нормально ни одной ночи, и что каждый раз, когда звонил телефон, у неё останавливалось сердце, и что она никому об этом не сказала. Следом приходила мысль, что боялась не самолёта, а того, что не сможет об этом говорить, и что не говорить было тяжелее, чем бояться.

Внучка выиграла городскую олимпиаду по химии, и её фотографию напечатали в газете.

Валентина Ивановна вырезала газету и положила в сервант, под стекло, и сказала:

— Не сглазить бы.

Газета лежала под стеклом, и её было видно, и когда приходили гости, Валентина Ивановна говорила: «Это наша». Говорила она это тихо, как сообщают что-то нехорошее. Газету она купила в киоске у метро, и попросила ещё девять.

Женщина в киоске сказала:

— Зачем вам столько?

Валентина Ивановна сказала:

— Внучка тут.

Женщина сказала:

— А, ну тогда давайте.

Она принесла их домой и разложила на столе, и вырезала заметку из одной, и остальные девять сложила в шкаф, и они лежали там стопкой. Она возвращалась к этому и думала, что девять газет — это много, и что она никому их не показала, и что они лежали без дела.

И ещё она думала, что если бы внучка узнала, то засмеялась бы, и что она этого и не хотела, и что хотела, наверное, чтобы кто-нибудь узнал сам.

Внучка сказала:

— Ба, ну какое сглазить.

Она сказала:

— Всякое бывает.

Внук родился в декабре, и всё прошло хорошо, и ей позвонили из роддома.

Она сказала:

— Слава богу. А то я боялась.

Она действительно боялась. Она боялась все девять месяцев и никому об этом не говорила, потому что если сказать, что боишься, то тоже как будто накликаешь. Она связала ему шапку и не сказала, что связала сама.

Дочка сказала: «Мама, какая хорошая шапка, где взяла?» Она сказала: «Купила». Она связала её за три вечера и распустила два раза, потому что первый раз вышло велико.

Пряжу она купила в магазине на углу, и продавщица спросила:

— На кого?

Она сказала:

— На маленького.

Продавщица сказала:

— Тогда вот эта, она мягкая.

Валентина Ивановна взяла два мотка и ещё один на всякий случай, и потом этот третий лежал у неё в ящике двенадцать лет. Вязала она вечерами, под телевизор, и считала петли вслух, и сбивалась, и распускала. Первый раз шапка вышла на взрослого, и она её распустила, и второй раз вышла на два года, и она распустила снова, и третий раз получилось.

Задним числом она объясняла себе, что не сказала про шапку не из скромности, а потому что похвала была бы как объявление, а объявлять было нельзя. Она думала и об этом, и выходило, что шапка была единственная вещь, которую она сделала руками за десять лет, и что про неё никто не узнал.

В сумке у неё лежал кусок дерева, небольшой, от старой доски, обтёртый и гладкий.

Она носила его с собой, потому что не всегда рядом есть дерево, а постучать бывает нужно. Внучка, когда была маленькая, спрашивала: «Баба, ты что стучишь?» Она говорила: «Чтобы не сглазить».

Внучка спрашивала: «А кто сглазит?» И она не знала, что ответить, и говорила: «Люди».

Внучка спрашивала:

— А кто именно?

И она говорила:

— Всякие.

Ей и потом случалось думать, что за всю жизнь не смогла назвать ни одного человека, который бы её сглазил, и что она искала и не нашла, и что это, наверное, о чём-то говорит. И ещё она думала, что боялась не людей, а того, что хорошее отберут, и что отбирали всегда не люди, а обстоятельства, и что обстоятельствам стучать по доске бессмысленно.

В июне вся семья собралась на даче, и был стол под яблоней, и было много всего.

Внучка сидела рядом и вдруг сказала:

— Бабушка, а ты когда-нибудь радовалась вслух?

Валентина Ивановна сказала:

— Как это — вслух?

— Ну вот так, чтобы сказать: ура, как хорошо, и ничего не добавить.

Она подумала. Она подумала и не смогла вспомнить ни одного раза. Она помнила, как радовалась про себя. Как стояла на кухне и улыбалась в окно, и никто не видел. Как шла по улице и говорила себе «надо же», и это было всё.

Она сказала:

— Радовалась.

Внучка сказала:

— Я не про это.

И взяла с тарелки клубнику, и разговор кончился. За столом стало тихо, и зять сказал: «Ну, за бабушку», и все подняли. Она выпила свою рюмку и стала собирать тарелки, хотя её не просили.

На кухне она стояла над раковиной и мыла посуду, и вода была горячая, и она мыла долго. В августе ей позвонили из поликлиники и сказали, что всё в порядке, что снимок хороший и приходить не надо. Она три года ходила на эти снимки, и каждый раз ждала звонка, и каждый раз не говорила об этом никому.

Она ходила в марте, всегда в марте, и всегда одна. Снимки делали в подвале, в кабинете с тяжёлой дверью, и надо было прийти к восьми и сидеть в коридоре.

В коридоре стояли стулья с деревянными спинками, и на стене висели объявления: про флюорографию, про диспансеризацию, про то, что приём по записи.

Она выучила их наизусть, и это было единственное, о чём она могла думать в очереди, и она была этому рада.

Женщина за перегородкой говорила:

— Фамилия.

Она говорила:

— Смирнова.

Женщина говорила:

— Год рождения.

Она говорила:

— Пятьдесят четвёртый.

И это было всё, что от неё требовалось, и это было лучше всего остального дня. Позже она думала, что три года подряд в марте она садилась на этот стул и думала одно и то же, и что за три года ни разу не сказала об этом ни дочке, ни внучке, ни сестре.

И ещё она думала, что если бы сказала, ей бы, наверное, стало легче, и что она этого не проверила, и уже не проверит. В коридоре было жарко, и она сидела в очереди и читала объявления на стене, и выучила их наизусть. Она села в прихожей на тумбу для обуви и посидела.

Потом достала телефон и позвонила дочке.

Она сказала:

— Мне из поликлиники звонили. Всё хорошо.

Дочка сказала:

— Слава богу.

Валентина Ивановна сказала:

— Я и говорю. Хорошо.

И замолчала, потому что поняла, что не добавила ничего.

Дочка тоже помолчала и сказала:

— Мам, ты чего?

Она сказала:

— Ничего. Я так.

Она не договорила, и дочка сказала:

— Ладно, я тебе перезвоню, у меня совещание.

Она положила трубку и сидела. Она ждала, что что-нибудь случится. Что заберут. Что окажется, что снимок перепутали.

Прошёл день. Прошла неделя. Ничего не случилось.

Только много позже она поняла, что за тридцать лет у неё не было ни одного дня, когда бы ничего не случилось, и что она не знала, что с таким днём делать. Она ходила по квартире и искала, за что взяться, и взялась за шкаф с посудой, и перемыла всю посуду, включая ту, которой не пользовались.

Она спала плохо и просыпалась в пять. Она проверила, не звонили ли ещё раз, и никто не звонил. Она подумала, что снимок могли перепутать, и позвонила сама, и ей сказали то же самое, и голос у женщины был спокойный.

Соседка по площадке спросила, как дела, и она сказала: «Нормально». И потом, впервые за много лет, сказала: «Хорошо». Соседка сказала: «Ну и слава богу», и пошла к лифту, и это было всё.

Вечером она позвонила дочке и сказала:

— Мне из поликлиники звонили. Всё хорошо. И я снята с учёта.

Дочка сказала:

— Мам, ну наконец-то.

И помолчала, и сказала:

— Ты как?

Валентина Ивановна сказала:

— Хорошо.

Она сказала это и стала ждать, что дочка спросит ещё что-нибудь, и дочка не спросила, потому что за пятнадцать лет привыкла, что мать отвечает коротко. Ей и потом случалось думать, что второй раз в жизни сказала вслух «хорошо» и не добавила ничего, и что оба раза её не переспросили, и что переспрашивать, наверное, было некому.

И ещё она думала, что дочка, скорее всего, не заметила, и что это не её ошибка, и что от этого не легче. Она пошла на кухню и поставила чайник. Пока он грелся, она стояла и смотрела на доску у телефона, и видела стёртое место, и подумала, что за тридцать лет стёрла его сама.

Она налила чай и села за стол, и стол был накрыт клеёнкой, и на клеёнке был рисунок: васильки, повторяющиеся через двадцать сантиметров. Она сидела и пила, и было тихо, и в подъезде хлопнула дверь, и она не вздрогнула. Позже она думала, что в тот вечер ничего не случилось и что это было главное, и что она ждала весь вечер, что случится, и не дождалась, и легла спать в одиннадцать.

Через неделю она позвонила внучке и сказала:

— Меня сняли с учёта.

Внучка сказала:

— Ба, это же отлично!

Она сказала:

— Отлично.

И на этот раз не добавила ничего, и внутри у неё что-то стояло на месте и не падало.

Внучка сказала:

— Ба, ты чего молчишь?

Она сказала:

— Ничего. Стою.

Внучка сказала:

— Ну ладно. Пока.

Она положила трубку и постояла в прихожей, и рука сама потянулась к доске, и она её не тронула. Задним числом она объясняла себе, что впервые за тридцать лет не постучала, и что от этого ничего не случилось, и что мир не перевернулся.

Вечером она достала из сумки кусок дерева, посмотрела на него и положила на полку в прихожей, рядом с ключами.

Доска у телефона так и осталась, и она по ней ещё стучит, но уже не каждый раз. Она больше не брала его с собой.

После ремонта

Ремонт в квартире начался в девяносто первом году и кончился в двадцать первом. Тридцать лет. Он потом считал и сам удивился: тридцать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.